

Страница, которая была поначалу белой, теперь сверху донизу покрыта крошечными черными значками, буквами, словами, запятыми, восклицательными знаками, и благодаря им страницу теперь можно прочитать. Однако откуда это непонятное душевное беспокойство, отвращение, чуть ли не тошнота, нерешительность, которая не позволяет мне начать писать... неужели реальность и есть это множество черных значков? белизна здесь — субстанция сродни полупрозрачности пергамента, охре глиняных табличек то с процарапанными, то с рельефными письменами, а прозрачность и белизна, возможно, — реальность более убедительная, чем уродующие их значки. Палестинская революция была записана на небытии, вот еще одна субстанция — небытие, и белая страница, и любой, самый крошечный просвет белого листа между двумя словами, возможно, более реальны, чем черные значки? Читать между строк — искусство штиля, читать еще и между слов — искусство шторма. Если бы реальность могла существовать в каком-то определенном месте, она, реальность времени, проведенного рядом с палестинцами — но не вместе с ними — со-

хранилась бы, возможно, я не совсем точно выражаюсь, между каждым из слов, стремящихся осознать эту реальность, но она съеживается, уплотняется, туго входит в пазы между словами или, вернее, оказывается плотно вбита между ними, на этом белом пространстве бумажной страницы, между словами, а не в них самих, которые и были написаны для того, чтобы исчезла эта реальность. Нет, скажу по-другому: пространство между словами наполнено реальностью больше, чем время, необходимое, чтобы эти слова прочитать. Но, возможно, это то самое, плотное и реальное время, спрессованное между буквами древнееврейского языка; и когда мне привиделось, что негры — это черные буквы на белой странице Америки, эта картинка промелькнула слишком быстро, поскольку реальность в том, чего я никогда не смогу узнать достоверно, она там, где разыгрывается любовная драма между двумя американцами с разным цветом кожи. Выходит, палестинская революция прошла мимо меня? Именно. Я понял это, когда Лейла посоветовала мне отправиться на Западный берег реки Иордан. Я отказался, потому что оккупированные территории были лишь частью трагедии, прожитой мгновение за мгновением и теми, кого оккупировали, и теми, кто оккупировал. Их реальность была переплетением ненависти и любви, прозрачностью, тишиной с насечками слов и фраз.

Мне показалось, что в Палестине — здесь это заметнее, чем где бы то ни было — у женщин на одно положительное качество больше, чем у мужчин. Мужчина, тоже храбрый, отважный, внимательный к другим, в каком-то смысле ограничен собственными добродетелями. В то время как к добродетелям женщин, которые, впрочем, не допущены на военные базы, но

работают в лагерях, добавляется, ко всем прочим, еще одно качество, над которым можно было бы от души посмеяться. В комедии, которую они разыгрывали, чтобы защитить кюре, мужчинам не хватило бы убедительности. Возможно, гинекей, женские покои в доме, был изобретен женщинами, а не самцами. Когда мы закончили обедать, было около половины первого. Лучи солнца вертикально падали на Джераш*, мужчины отдыхали. Мы с Набилой, единственные бодрствующие существа, которые не пытались укрыться в тени, решили отправиться в лагерь Бакаа неподалеку. В те времена Набила была еще американкой, позднее она разведется, чтобы остаться с палестинцами. Ей тридцать, она красива, как героини вестернов: джинсы, синяя джинсовая рубашка, распущенные черные волосы до пояса, на лбу челка, в такой час на дороге, ведущей в лагерь, она выглядела неприлично соблазнительной. Какие-то палестинки в национальных платьях заговорили с ней и были чрезвычайно удивлены, когда эта женщина-мальчик ответила им по-арабски, причем с палестинским акцентом. Стоит только трем женщинам начать разговор, не успеют они обменяться двумя-тремя учтивыми фразами, как к ним присоединяются еще пять женщин, а потом еще семь-восемь. Я стоял рядом с Набилой, но обо мне забыли, вернее, просто не обращали внимания. Минут через пять мы зашли в дом к одной из палестинок выпить чаю — просто предлог, чтобы продолжить разговор в прохладной комнате. Они разостлали для нас двоих покрывало, бросили на него несколько подушек, сами остались стоять, готовя чай или кофе. Никто не обращал на

* Город в Иордании. (Прим. ред.)

меня внимания, кроме Набилы, которая, вспомнив о моем присутствии, протянула мне стаканчик. Разговор велся по-арабски. А моими собеседниками были четыре стены и беленый известью потолок. Что-то подсказывало мне: данная ситуация не совсем соответствует принятому на Востоке — я оказался единственным мужчиной среди нескольких арабских женщин. Это был какой-то Восток наоборот, ведь все женщины, кроме троих, были замужем, и каждая, похоже, была единственной женой у своего мужа. Так что вся эта обстановка — я лежал, развалившись на подушках, как паша — выглядела довольно двусмысленной. Я прервал поток слов, которыми они обменивались с Набилой, и попросил ее перевести:

— Вы ведь все замужем, где ваши мужья?

— В горах!

— Они воюют!

— Мой работает в лагере!

— И мой!

— А что бы они сказали, если бы узнали, что с вами находится чужой мужчина, который лежит на их покрывалах и подушках?

Они расхохотались, а одна сказала:

— Они это и так узнают. Узнают от нас, смутятся, а мы еще и посмеемся. Мы все будем смеяться над нашими воинами. От досады они сделают вид, что играют с детьми.

При этом все женщины не только болтали: каждая занималась одним-двумя существами мужского пола, которых некогда произвела на свет, меняла им пеленки, давала грудь или соску, чтобы он вырос, стал героем и погиб в двадцать лет не на Святой земле, а ради нее. Так они мне сказали.

Это было в конце 1970 года в лагере Бакаа.

Слава героев измеряется не значимостью завоеваний, а величиим знаков почитания; «Илиада» важнее, чем война Агамемнона, халдейские стелы значимей, чем армии Ниневии; колонна Траяна, «Песнь о Роланде», настенная живопись великой Армады, Вандомская колонна, все эти памятники, прославляющие военные победы, были созданы после великих сражений благодаря трофеям, созданы талантом художников, их пощадили мятежи и ненастья. Остаются только свидетельства более или менее точные, но всегда волнующие, дарованные победителями грядущим векам.

Безо всякого уведомления мы оказались в состоянии боевой готовности. Европа содрогнулась, я до сих пор не могу прийти в себя. За три года до этого, цитирую: «кинематографисты Тель-Авива разбрасывали по пляжам башмаки, каски, ружья, штыки, оставляли на песке следы босых ног, чтобы изобразить картину разгрома, которая будет доработана в студии Лос-Анджелеса». Изображение битв, побед или поражений, все это не было внове, в каждом лагере имелись свои хитрости, свои мастера, творцы, приписанные к армии в каждом египетском походе, рисовальщики и художники живописали по следам событий то, что оставит вам победитель. В 1967 году Израиль сперва подготовил, затем снял, смонтировал беспорядочное бегство египтян, а на седьмой день показал его по телевизору, мир получил эту картинку одновременно с заявлениями об их победе над арабами. Внезапно умер Насер, и пышность его похорон затмила саму смерть. Колыбель, аэростат, если хотите, гроб, раскачивался, танцевал, почти парил над головами людей, с виду рассерженных, но, возможно, очарованных этой игрой.

Хусейн, Бумедьен, Косыгин, Шабан-Дельмас, Хайле Селласие, прочие главы государств или правительств были отодвинуты в сторону пятнадцатикилограммовыми кулаками, широкими накачанными плечами — сколько надо перетаскать ящиков — каирских грузчиков или рабочих сборочного конвейера, отодвинуты и поставлены на свое место — так осторожно и даже изящно снимают шелковый чулок, захватив его между большим и указательным пальцами, и кладут на диван. Суровые египетские парни гроб не отдали.

Игра уже началась, и мяч для регби затерялся в свалке, чтобы вновь появиться в другом углу экрана. За него дрались несколько регбистов. Чей раздосадованный пинок швырнул его в бессмертие? Те, кто несли гроб, шли все быстрее и быстрее, за их бешеным темпом едва успевал Коран. Ступни, ноги, груди, гроб неслись во весь опор. Носильщики устремились вперед с гробом, злобные, как игроки Олл Блэкс. Толпа поглотила его. Весь мир следил за этой игрой с экранов телевизоров, угадывал передвижения гроба — от ноги к ноге, от кулака к плечу, между ног, в волосы, и на египетской земле толпа, носильщики, чтецы Корана, гроб, регбисты, все исчезло, осталась одна только скорость, она все нарастала и нарастала, и так до самой могилы. Лопаты, выворачивающие землю, издавали больше шума, чем холостые пушечные выстрелы. На могиле, несмотря на охрану, две или три тысячи освобожденных от груза ног танцевали до самого утра. Они двигались с абсолютной скоростью, это была скорость Бога Единого. Я подумал, что на Кубке мира по Похоронам на скорость эти стали бы чемпионами.

Немного позже, в сентябре 1970-го Хусейн, король Иордании, мог быть свергнут фидаинами, но Амери-

ка пришла ему на помощь. Коль скоро моральный дух и мужество Насера оказались не на высоте, чувственное и мужественное регби, которое мы наблюдали по телевизору, был некой церемонией, призванной стереть из памяти поражение 1967-го, скрыть то, что предвещал 1970-й. Тот, кто пропадает, — прячется? Сила этого зрелища на экране была простодушной, как поцелуи, расплющенные о рот, волосы, золотую цепочку, серьгу в ухе, веки того, кто забил гол. А крики взметнувшегося стадиона, возгласы — так приветствовали гол эти обмен поцелуями? Под грудой десятерых потных парней пропал один? Он так прячется? Тело *Raica** исчезло. Тот, кто был солнцем народа, соединится с кедром, из которого сделан гроб, а время все благословит. Эпоха наций насаживает на вертел арабский народ. Отечества возбуждены... Нужны будут новые войны. Насер объявится снова в виде рисунков в комиксах.

Еще прежде чем оказаться там, я знал, что необходимость моего присутствия на берегу Иордана, на палестинских базах, никакими словами выразить невозможно: я принял этот мятеж, как музыкальное ухо распознает верную ноту. Часто лежа под деревьями возле палатки, я смотрел на Млечный Путь, такой близкий за нависающими ветками. Вооруженные часовые передвигались в ночи бесшумно, по траве и листьям. Их силуэты хотели слиться со стволами деревьев. Они прислушивались. Они, часовые. Мой-твой-часовой.

Млечный Путь, беря свое начало в огнях Галилеи, выгибался сводом, который, нависнув надо мной, на-

* Раис — глава, президент в переводе с арабского языка. (Прим. ред.)

висал и над всей Иорданской долиной, а затем, разделившись, умирал в Саудовской пустыне. Вытянувшись на покрывале, я проникался этим зрелищем, возможно, глубже, чем палестинцы, для которых небо было банальностью. Придумывая, как мог, их мечты, ведь у них были мечты, я знал, что меня отделяет от них вся моя жизнь, которую я прожил в тоске и скуке. Поскольку слова «колыбель» и «невинность» связаны так целомудренно, палестинцы, дабы случайно не исказить ни то, ни другое понятие, похоже, не решались поднять голову: наверное, они и не видели эту ночь, где рождалась красота неба — ее колыбель качали мигающие огни Израиля. В одной шекспировской трагедии лучники пускают стрелы в небо, а я не удивился бы, если бы фидайны, твердо стоящие на широко расставленных ногах, раздраженные такой красотой свода, опирающегося на землю Израиля, прицелились бы и выпустили автоматную очередь в Млечный Путь, Китай и социалистические страны, поставляющие им столько боеприпасов, что можно было бы разнести половину небесного свода. Но чтобы Палестина стреляла в звезды, которые излучает их собственная колыбель?

— Была единственная процессия — моя. Та, в святую пятницу, где я шел впереди в белом стихаре и черной мантии. Мне некогда с вами разговаривать, — сказал мне кюре, уже красный от гнева.

— А я видел две процессии. Там еще была хоругвь с Богородицей...

— Нет, никакой второй процессии с Богородицей не было. Это что, проходимцы, которые шагали в ногу и трубили в трубу? Какие-то рыбаки, шли бы они своей дорогой. Любят они скандалы.

А у меня на глазах столкнулись две процессии, во главе первой шел этот ливанский кюре, а над второй реяла белая с синим хоругвь, и, если верить рассерженному священнику, шествие состояло из всякого сброда, бездельников, моряков, они направлялись в порт. Я позднее узнал от одного бенедиктинца, процессий и правда было две. Первая, несмотря на музыку, двигалась довольно медленно, с какой-то неестественной скорбью. Оркестр и хор — мужчины и женщины — исполняли «Реквием», и вот эту скорбную процессию решительно подрезала другая, где очень бодро, чуть ли не бегом, шли молодые люди и дули в трубы. Шагающий во главе здоровяк высоко нес стяг с образом Богородицы. Я узнал ее по двум сложенным ладоням, по отделанным белой каймой облакам на синем небе, золотистые звезды обрамляли ее, как на картинах Мурильо, пальцы ног опирались на полумесяц, который казался таким острым. Звезды, синева неба, размеренный шаг, трубы, бодрая мелодия, резиновые сапоги, вязаные свитера моряков, вся эта процессия должна была бы открыть мне — и если верить кюре, главным образом звезды и луна, — открыть мне вот что: звезд, описывающих почти идеальную сферу вокруг Богородицы, было ровно столько, сколько в Малой Медведице; синева неба была синевой моря; облака с белой каймой — волны с изгибом; полумесяц — Ислам; трубы трубили радостную мелодию, потому что люди шли по правильному пути, наперерез траурной процессии; парни в резиновых сапогах — это рыбаки, а женщина — без нимба, венчающего голову Девы Марии, символизировала Полярную звезду. Так начался мой разговор с бенедиктинцем. Еще он мне сказал, что образ Богородицы отнюдь не был ни богородичным,

ни вообще христианским, а привнесенным еще доисламскими народами, населявшими морское побережье. Она была языческой по своему происхождению, а моряки поклонялись ей уже тысячелетия; в самые темные ночи она неизменно указывала им на север; благодаря ей самая неоснащенная лодка могла бы идти без парусов, но монах не смог мне сказать, почему эта процессия была такой радостной в день смерти Сына, оставившего шестнадцатилетнюю мать, похожую на образ Богородицы, изображенный на стяге. Поскольку расспрашивать его дольше он не позволил, я сказал себе, то есть сказал без слов, что радость этих труб, возможно, была именно сегодня, в пятницу, торжеством язычества над религией Сына.

Этой ночью в Аджлуне* я увидел Полярную звезду, которая находилась справа, на своем привычном месте в созвездии Малой Медведицы, и если Млечный Путь рассыпался в Аравийской пустыне, я чувствовал звездное головокружение, осознавая, что нахожусь в мусульманской стране, где женщина, как я еще думал, так далека, я вызывал в своем пред-сне процессию мужчин-холостяков, которые завладели — это походило на похищение — *образом* очень красивой дамы, и женщина эта являла собой Полярную звезду, навечно закрепленную где-то в эфире, на неисчислимо-огромном расстоянии, и, как всякая женщина**, она

* Аджлун — город на северо-западе Иордании, расположенный вблизи границы с Израилем. (*Прим. ред.*)

** Палестинцы, которых часто приглашали в Китай, напоминают — и мне нечего будет им возразить — высказывания Мао: одно из самых часто цитируемых касалось женщин, которых тот называл «Другая половина созвездия»

принадлежала всегда к какому-то другому созвездию; рыбаки мастурбировали чаще, чем законные мужья, а слово «полярный» относилось и к звезде, и к женщине. Хотя я и лежал совершенно неподвижно, завернувшись в покрывала, лицом вверх, я чувствовал, как звезды увлекают меня в некий вихрь, нежность мускулистых рук и волновала, и успокаивала. Я слышал, как в двух шагах от меня в ночи струятся воды Иордана. Я стыл.

Так когда-то, скорее из любопытства, а не по убеждению приняв приглашение провести несколько дней с палестинцами, я останусь с ними почти на два года, и каждую ночь, вытянувшись на покрывале, полумертвый, в ожидании, пока меня усыпит пилюля нембутала, я лежал, широко раскрыв глаза, с ясной головой, не удивляясь ничему и ничего не боясь, но находя забавным то, что лежу здесь, где по обоим берегам реки мужчины и женщины давно привыкли жить настороже, так почему не я?

При всей своей тогдашней бедности я был человеком, которому повезло родиться в столице империи столь обширной, что она опоясывала весь земной шар, а в это самое время палестинцев изгоняли с их земель, из их домов, их постелей. А сколько им пришлось скидаться потом!

«Звезды, мы были звездами. Из Японии, Норвегии, Дюссельдорфа, Соединенных Штатов, Голландии, не удивляйся, что я считаю на пальцах, из Англии, Бельгии, Кореи, Швеции, стран с неизвестными нам названиями, это были просто географические понятия, приезжали нас снимать, фотографировать, брать